

о котором он всегда мечтал? Отдельные всплески прежнего, «очеркового» характера, длились до последних лет, но два широких полотна, «Дело Артамоновых» и «Климы Самгины» — неудача явная. В особенности «Климы Самгины», роман, о котором Горький знал, конечно, что это последняя его вещь. Как картина нравов — «Климы Самгины» довольно яркая, и для знакомства с настроениями дореволюционной интеллигенции полезна. Но печально — показательно, что Горький в старости, после стольких исканий и вопросов, — и в годы, когда всем этим исканиям и вопросам идет такая страшная проверка, — дал именно «полезную» книгу, ничего больше. Последняя созданная — ключ к писателю. Если они и слабые предыдущих, в них особенно отчетливо отражено сознание, сердце, совесть автора.

Горький не удержал внимания, им возбужденного. Страстное сочувствие постепенно сменяется безразличием, которое — по мно-

гим свидетельствам — особенно сильно там, в России. Растет оно повсюду, — и едва ли в будущем дело изменится.

Но отдаляет нас от Горького не это. Отдаляет — его действительность плюс его положение на родине в последние годы: ужасающее, навеки неизгладимое в памяти искажение понятия о художнике — учителе, о поэте моральности. Все знают, о чем речь, и объяснять ничего не надо.

Уважение к Горькому заставляет врать, повторяю, что он создавал свое крушение. Ненависть к истине не могла на этот раз помешать ему понять и увидеть ее. Сравнение с участием других больших русских писателей должно было наводить на тревожные и горестные мысли. Иного «патента на благородство» ему не найти. Кто утверждает, что в судьбу Горького все закономерно, естественно и даже прекрасно, служить памяти его очень дурную службу.

Георгий Адамович.

## У истоков

Толстой писатель очень личный, и понять его творческое развитие вполне можно только из опыта его жизни. В художественном творчестве продолжается его личная жизнь, искание ее смысла... Не случайно Толстой приходит к литературе через дневники, писать начинает именно в такой интимной манере. «Дневники, тем самым, должны рассматриваться не только как обычная тетрадь записей, но и как сборник литературных упражнений и

литературного сырья» (Б. Эйхенбаум, Лев Толстой, I. 35).

Ранние дневники Толстого производят неожиданное впечатление. Точно писать их кто-то из сверстников Жуковского, если не Карамзина. Это характерный дневник sentimentalной эпохи. Толстой как-то запаздывает душевно в прошедшем столетии... Его дневники всегда нравоучительный, дневник поведения и нравов, «Франклиновская книга», «журнал для слабостей», почти что

кондуитный списокъ, для записи грѣховъ и просулковъ, и для плановъ исправленія. Это книга самонализоваго, средство слѣдить за собою. Это записи человѣка очень собой недовольнаго. Онъ знаетъ, что живетъ плохо и дурно поступаетъ, и вотъ хочетъ исправиться. Это значитъ постановить твердые правила жизни и поступать по нимъ. Это мораль закона... «Въ дневникѣ должна находиться таблица правилъ, и въ дневникѣ должны быть тоже опредѣлены мои будущія дѣянія» (запись 7.IV.1847, XLVI.20). У Толстого является мысль составить расписание жизни. «Хотѣлось бы привянуть опредѣлять свой образъ жизни впередъ, не на одинъ день, а на годъ, на нѣсколько лѣтъ, на всю жизнь даже; слишкомъ трудно, почти невозможно; однако, попробую, сначала на день, потомъ на два дня — сколько дней я буду вѣрять опредѣленіямъ, на столько дней буду задавать себѣ впередъ. Подъ опредѣленіями этими я разумью не моральныя правила, независящія ни отъ времени, ни отъ мѣста, правила, которыя никогда не измѣняются и которыя я составляю особо, а именно опредѣленія временныя и мѣстныя: гдѣ и сколько пробыть, когда и чѣмъ заниматься» (запись 14.VI.1850, XLVI.34)...

Характерная склонность жить по расписанію остается у Толстого на всю жизнь. Это придаетъ морализму Толстого какой-то казуистическій характеръ. У него была особенная тяга къ нравочученіямъ, изъ всего выводилъ мораль. «А право не худо бы, какъ въ басняхъ, при каждомъ литературномъ сочиненіи писать нравочученіе, — цѣль его» (зап. 18.XII.1853, XLVI.

214). Толстой съ молодости былъ убѣжденъ, что «нравственная цѣль» литературы есть единственная. И потому ему хотѣлось писать проповѣди. «Хочу писать проповѣди» (6.IV.1851, XLVI.53, запись въ Великую Пятницу). «Написалъ проповѣдь, лѣниво, слабо и трусливо» (18.IV.1851, Пасха). «Издавать нравственный журналъ. Составить религиозное руководство простому народу въ проповѣдяхъ... Исправить молитвы... Написать общія правила для жизни. Время изгнанія употребить на усовершенствованіе характера» («Правила и предположенія», XII.1853 — I.1854, XLVI.293)...

Жизнь Толстого принято представлять подъ знакомъ кризиса, перелома, «обращенія». Однажды, въ концѣ семидесятыхъ годовъ. «И жизнь моя вдругъ перемѣнилась», — точно путникъ повернулъ назадъ, «домой», и что было слѣва вдругъ оказалось справа... Такое изображеніе вѣрно только отчасти. Кризисъ семидесятыхъ годовъ былъ несомнѣннымъ потрясеніемъ. Но это бурное душевное потрясеніе не означало перемѣны въ мировоззрѣній, не означало и психологической перемѣны. То была точно судорога въ неразмыкаемомъ душевномъ кругѣ. Но кругъ такъ и не разомкнулся. Измѣнилось только самочувствіе, тонность жизни, чувство жизни. Но не было рожденія «новаго» человѣка. Не было мистическаго откровенія, встрѣчи, прорыва. И не было перемѣны во взглядахъ. Напротивъ, такъ показательна эта однодупность Толстого, упорное и упрямое однообразіе его мысли. И душевный стиль не мѣняется отъ юности и до конца. Не удивительно ли, что уже

въ 1855-омъ году Толстой могъ записать у себя въ дневникъ: «Разговоръ о божествѣ и вѣрѣ навелъ меня на великую, громадную мысль, осуществленію которой я чувствую себя способнымъ посвятить жизнь. Мысль эта — основаніе новой религіи, соответствующей развитію человечества, — религіи Христа, но очищенной отъ вѣры и таинственности, религіи практической, не обѣщающей будущее блаженство, но дающей блаженство на землѣ. Привести эту мысль въ исполненіе, я понимаю, что могутъ только поколѣнія, сознательно работающія къ этой цѣли. Одно поколѣніе будетъ завѣщать эту мысль слѣдующему, и когда-нибудь фанатизмъ или разумъ приведутъ ее въ исполненіе. Дѣйствовать сознательно къ соединенію людей религіею, вотъ основаніе мысли, которая, надѣюсь, увлечетъ меня» (запись 5.III.1855, Бирюковъ, I (1906), 250).

Религіозные мотивы въ этихъ «дневникахъ молодости» вообще очень сильны. По дневникамъ можно судить вполне и о чтеніи Толстого. Всѣми своими симпатіями онъ въ XVIII-мъ вѣкѣ: Руссо, Стернъ, Бернардень де С.-Пьеръ, Бюффонъ, Vicar of Wakefield Гольдсмитъ, изъ русскихъ Карамзинъ. Читалъ Толстой еще Екатерининскій «Наказъ» и Монтескье. Sentimental Journey Толстой даже переводилъ, Paul et Virginie не разъ цитируетъ въ дневникъ. Всего же характернѣе увлеченіе Руссо. «Я прочелъ всего Руссо, всѣ двадцать томовъ, включая «Словарь музыки». Я болѣе, чѣмъ восхищался имъ, я боготворилъ его. Въ 15 лѣтъ я но-

снулъ на шеѣ медальонъ съ его портретомъ вмѣсто натѣльнаго креста. Многія странницы его такъ близки мнѣ, что мнѣ кажется, я ихъ написалъ» (Бирюковъ, I, 124). Это не было просто влеченіе, и даже не усвоеніе. Толстой узнаетъ въ этой сентиментальной стихіи свое родное, личное, въ ней находитъ самого себя. Онъ очень цѣленъ въ этомъ «сентиментальномъ» стилѣ (срв. его письма къ Т. А. Ергольской въ LIX-мъ томѣ Юбил. изданія).

То, что принято называть «сентиментализмомъ», не было только литературнымъ движеніемъ или направленіемъ. Это было сперва именно мистическое движеніе, это былъ религіозно-психологическій сдвигъ. И его истоки нужно искать въ испанской, голландской и французской мистикѣ XVI и XVII вѣковъ. Это было пробужденіе сердца, открытіе внутренняго міра, открытіе сердечной глубины въ повседневной, домашней, семейной жизни. И книги сентиментальныхъ писателей получали смыслъ религіознаго благочестія. Известная книга Юнга, *The Complaint or Night-thoughts*, это не только чувствительная поэма, не только и исповѣдь сентиментальнаго человѣка, но и мистическій путеводитель новаго «пробужденнаго» поколѣнія. Плетическая воэна въ XVIII-мъ вѣкѣ прокатывается черезъ всю европейскую культуру. И это историческое вліяніе или значеніе плетизма въ становленіи новаго духа еще не учтено достаточно. Но нужно вспомнить о его вліяніи на Гете (см. особенно W. Meisters Lehrjahre). Нужно вспомнить, что Новалисъ и Шлегельмахеръ вышли изъ

герригутерских круговъ оба. И нужно помнить, что Руссо вѣдь, исторически и психологически, былъ тоже только обмирщеннымъ пѣтистомъ. Основная категория здѣсь одна: «прекрасная душа»...

Вліяніе западнаго пѣтизма въ русской культурѣ вообще было очень сильно, начиная съ Карамзина и Жуковского. Толстой принадлежитъ къ тому-же историческому преемству. И его религиозно-моралистическая вліятельность свидѣтельствуетъ о всей силѣ этихъ пѣтическихъ впечатлѣній въ русской душѣ, совсѣмъ не изжитыхъ и не исчерпанныхъ въ свое время. Александровской эпохой Толстой заинтересовался не случайно. И если Пьера Безухова онъ какъ будто стилизуетъ подъ свое время, то развѣ не хотѣлъ онъ еще больше самого себя и самую современность застилизовать именно подъ пѣтизмъ старинныхъ временъ!

Толстой проповѣдуетъ «обращеніе», conversion. То, что можетъ быть названо толстовствомъ, и есть проповѣдь обращенія. Нужно пройти черезъ разрывъ и переломъ, и не только «обратиться», но именно пережить обращеніе, осознать и почувствовать себя «обращеннымъ» (или «спасеннымъ»). Иначе: начать «новую жизнь», сознательно и добровольно, — рѣшиться и рѣшить. Вмѣсто «обращенія» можно подставить и другіе термны: «возрожденіе», «пробужденіе», «воскресеніе», — въ первоначальной западной формѣ это будетъ: Erweckung или revival, основные термны нѣмецкаго и англо-американскаго пѣтизма. «Воскресеніе» построено вполне по схемамъ пѣтистовъ. И симпатіи Тол-

стого къ вилюксаксонскимъ сектантамъ объясняются тожествомъ вотъ этого чувствительнаго флагочества.

Въ творествѣ Толстого сентиментализмъ вновь прорывается въ верхніе историческіе пласты русской культуры... И въ этомъ смыслѣ творчество Толстого оказывается анахронизмомъ.

Толстой психологически оказывается внѣ своего вѣка, внѣ современности и исторіи. Отчасти просто оказывается, отчасти сознательно уходитъ, отступаетъ или укрывается изъ современности въ какое-то скорѣе надуманное прошлое. И свою отсталость отъ исторіи Толстой закрѣпляетъ своимъ отрицаніемъ исторіи. Эту сторону творчества Толстого очень удачно показываетъ Б. Эйхенбаумъ въ своей большой книгѣ о Толстомъ (2 тома, 1928 и 1931). «Толстой — воинствующій архангелъ, отстаивающій въ серединѣ XIX вѣка принципы и традиціи уходящей и частью ушедшей культуры XVIII вѣка» (I. 11)... «Архангелъ» Толстого, это очень сложный сюжетъ, въ которомъ не сразу распознаешь всѣ отдѣльныя составляющія. «Архангелъ», какъ система, не означаетъ простого опозданія или задержки въ развитіи. Въ немъ есть свой волевой упоръ, даже упрямство, ссора или разрывъ съ «современностью», съ «дѣйствительностью». Весь Толстой въ этомъ разрывѣ, въ этой враждѣ съ исторической «средою» и съ самой исторіей, въ этомъ противоположеніи. «Можно сказать, что художественное творчество Толстого родилось изъ этого архангелскаго пафоса, — какъ демонстрація противъ «современности»; поэтому оно въ

основѣ своей нигилистично, вдохновлено отрицаніемъ сужденій», по отношенію къ которымъ у него всегда готовъ вопросъ: «не вздоръ ли это все?», и напротивъ, утвержденіемъ примитивныхъ абсолютныхъ «истинъ», существующихъ внѣ исторіи и влияющихъ на челоѣка въ природу (1291)... Въ кругу своихъ литературныхъ современниковъ Толстой чувствовалъ себя чужимъ. Ему равно были чужды и «отшты», и «дѣти», — люди сороковыхъ и люди шестидесятыхъ годовъ. «Въ сущности говоря, Толстой стоитъ спиной ко всей русской культурѣ послѣ двадцатыхъ годовъ и живетъ больше своеобразной пересадкой нѣкоторыхъ западныхъ традицій и теченій, выбирая среди нихъ именно то, что наиболее чуждо русской интеллигенціи новаго времени. Рядомъ съ Руссо онъ используетъ нѣкоторыя тенденціи западнаго свободомыслія (Брунона, Мишле, литература противъ Наполеона I), поворачивая ихъ такъ, что они оказывались направленными противъ русскаго радикализма и получаютъ тотъ же нигилистическій характеръ (1282)... Онъ отрицаетъ всѣ достижения русской интеллигенціи и строитъ свою систему (если не убжденій, то понятій) на тѣхъ основахъ, которыя характерны для конца XVIII вѣка (Новиковъ, Радищевъ, Карамзинъ). А такъ какъ русская дворянская культура недостаточна и несамостоятельна, то огромное значеніе для него приобретаетъ Западъ... Можно прямо сказать, что Толстой, по своимъ источникамъ, по своимъ традиціямъ, по своей школѣ, — наименѣе русскій изъ всѣхъ русскихъ писателей» (1288)...

Внѣшнимъ проявленіемъ этого разрыва съ современностью у Толстого былъ его первый уходъ въ Ясную Поляну, въ 1858 г., этотъ «первый Толстовскій кризисъ», Толстовскій «сходъ изъ литературы», уходъ въ деревенскую жизнь и потомъ въ «семейное счастье». Это былъ именно уходъ или исходъ, — изъ города въ село, изъ исторіи къ природѣ, отъ интеллигентовъ къ народу. Эйхенбаумъ справедливо отмѣчаетъ, что у Толстого въ эти годы «народничество и радикализмъ принимаютъ какой-то почти огромный характеръ» (1374). Несомнѣнны автобиографическія черты въ психологии Левина, въ его деревенской враждѣ къ городской культурѣ. «Такъ называемый «культурный челоѣкъ», эрудитъ, «сблудившій» за наукой и выпитывающій въ себя разнообразныя знанія для Толстого челоѣкъ загадочный, если не шарлатанъ или почти идіотъ» (1. 283)...

Есть въ этомъ, однако, и другая глубина. Толстой былъ по своему апокалиптикъ, онъ всегда вѣлъ въ будущее и въ должномъ, въ обязанностяхъ, въ возможностяхъ и надеждахъ. И «апокалипсисъ», какъ обычно, смысляетъ «исторію». То, что въ одномъ аспектѣ есть «нигилизмъ», въ другомъ есть именно «апокалипсисъ». Одна «дѣйствительность», должная, отрицается или отвергается ради другой, еще не наставшей, но истинной. Историческій обманъ ради взыскуемой правды. Въ томъ вся динамика творчества Толстого, что все данное, что вся исторія и вся современность есть для него единая великая ложь, обманъ и самообманъ челоѣчества. Не только въ исторіи есть ложь,

и много лжи и неправды, но все есть ложь, и ни в чем еще нет правды. Отсюда у Толстого вся эта боль и тревога, — за себя, за других, за весь исторический мир. В этом ригористическом нигилизмѣ и вся «религія» Толстого. Толстой всегда остается психологически в неразомкнутомъ кругу Реформации, съ ея потрясенностью, неисцѣлимостью грѣховнаго мира. Спасается человекъ «вѣрою» или «обращеніемъ», т. е. отреченіемъ и надеждой. Но въ его эмпирическомъ или историческомъ состояніи еще не наступаютъ перемѣны. Потому и приходится все время отрицать, выступать, исходить изъ исторіи...

Сила Толстого въ его обличительной откровенности, въ его моральной тревогѣ. У него услышали призывъ къ покаянію, точно нѣкій набатъ совѣсти. Но именно въ этой же точкѣ всего острѣе чувствуется и немощь. Ибо Толстой не умѣетъ объяснить происхожденіе этой жизненной нечистоты и неправды. Его объясненіе и слишкомъ просто, и слишкомъ радикально. Онъ просто отрицаетъ культуру и исторію, какъ нѣчто недолжное и потому несправедливое. Исправить исторію нельзя, можно только изъ нея уйти. И Толстой слишкомъ упрощаетъ реальность зла, точно можно все свести къ одному непониманію или безразсудству, все объяснять «глулостью» или обманомъ, или «злонамѣренностью» и «сознательной ложью». Все это очень характерныя черточки «просвѣтительства», все того-же XVIII-го вѣка, «чувствительнаго» и «вольнодумнаго» вѣствѣ. Толстой отстаегъ даже отъ своего собственнаго опыта,

изъ котораго онъ такъ хорошо знаетъ о соблазнительной власти страстей, — но и страстямъ онъ противопоставляетъ правила и правила, высшій запретъ и осужденіе закона... Есть разительное несоотвѣтствіе между агрессивнымъ максимализмомъ социально-этическихъ обличеній и отрицаній Толстого и крайней бѣдностью его положительнаго нравственнаго ученія, сведеннаго къ здравому смыслу и къ житейскому благоразумію. Оптимизмъ здраваго смысла неизбѣжно оборачивается упростиельнымъ нигилизмомъ. Основное противорѣчіе Толстого въ томъ именно, что для него жизненная неправда вконцѣ преодолевается, строго говоря, только отказомъ отъ исторіи, выходомъ изъ культуры и опрощеніемъ, то есть — чрезъ снятіе вопросовъ и отказъ отъ задачъ...

Толстой уходилъ изъ исторіи не разъ. Въ первый разъ это было въ концѣ 50-хъ годовъ, когда онъ замкнулся въ Ясной Полянѣ и отдался своимъ педагогическимъ экспериментамъ. Это былъ исходъ изъ культуры, ибо всего меньше Толстой думалъ тогда о вліяніи на народъ. Нужно узнавать волю народа, и ее исполнять. Въ самомъ «противодѣйствіи» народа нашему образованію Толстой усматривалъ справедливый судъ надъ этой бесполезной исторической культурой. Въдъ мужику дѣйствительно не нужна ни техника, ни изящная литература, ни самое книгопечатаніе. Спросъ на нихъ создается только напраснымъ и опаснымъ усложненіемъ всей жизни. Нѣсколько позже Толстой убѣждается, что и всякая философія, и всякая наука есть только бесполезное излишество.

И отъ него онъ ищетъ укрятіа въ трудовой жизни простого народа. Въ своей извѣстной статьѣ: «Кому у кого учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у насъ или намъ у крестьянскихъ ребятъ?» (1862) Толстой уже предвосхищаетъ въ основномъ свой будущій памфлетъ объ искусствѣ (1897). И тотъ же замыселъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Овсянко-Кутиковскій очень удачно опредѣляетъ этотъ жанръ, какъ «нигилистическій эпосъ». Большая исторія для Толстого есть только игра. И въ этой игрѣ нѣтъ героев, нѣтъ дѣйствующихъ лицъ, есть только незримый рокъ и поступь близкихъ событий. Все точно снится. Все распадается и разложено въ систему сценъ и ситуаций. Это скорѣе маска жизни. Въ исторіи ничего не достигается. Изъ исторіи нужно укрыться... И послѣднимъ приступомъ нигилистической борьбы Толстого былъ его религиозный кризисъ. Онъ отвергъ Церковь, потому что отрицалъ исторію и человека. Онъ захотѣлъ остаться наединѣ. Гордость и самоуничиженіе странно смѣняются въ этомъ нигилизмѣ отъ здраваго смысла... Въ этомъ паосѣ историческаго недѣланія Толстой неожиданно сходится съ Побѣдоносцевымъ. При всемъ различіи темпераментовъ и настроеній они сближаются въ исходныхъ предпосылкахъ, какъ были идейно близки Руссо и Эдмундъ Бёркъ. Побѣдоносцевъ былъ тоже саркастомъ, какъ и Толстой, и тоже мечталъ и старался удержатъ «народъ» внѣ культуры и исторіи, и тѣмъ спасти отъ порчи и погубели. Побѣдоносцевъ вѣрилъ въ народъ и не вѣрилъ въ исторію. Онъ вѣрилъ въ проч-

ность патриархальнаго быта, въ растительную мудрость народной стихіи, и не допиралъ личной инициативы. Онъ вѣрилъ въ простой народъ, въ силу народной простоты и первобитности, и не хотѣлъ разлагать эту наивную цѣлостность чувства ядовитой привижкою разсудочной западной цивилизаціи. Конечно, весь этотъ культъ непосредственности у Побѣдоносцева отъ обратнаго, отъ противнаго. И самъ Побѣдоносцевъ всего меньше былъ человѣкъ непосредственный, всего меньше жилъ инстинктомъ или чутьемъ. Отъ собственной оталеченности онъ ищетъ врачеванія или protivоядія въ народной простотѣ. Отъ собственной безыгнотности онъ хотѣлъ бы укрыться въ народномъ бытѣ, вернуться къ «почвѣ». Онъ былъ увѣренъ, что въра крѣпка и крѣпится неразсудженіемъ (срв. у Бёрка «refudience», предубѣжденіе). Онъ дорожитъ кореннымъ и исконнымъ, больше чѣмъ истиннымъ. Побѣдоносцевъ боялся просвѣщенія народа, боялся пробужденія религиознаго сознанія въ народѣ, потому что для него это были отрицательныя и ложныя начала. Онъ вѣрилъ въ охранительную прочность патриархальныхъ устоевъ, но не вѣрилъ въ созидательную силу Христовой истины и правды. Онъ опасался всякаго дѣйствія, всякаго движенія, — охранительное бездѣйствіе ему казалось надеждою всякаго дѣйствія, даже подвига. Онъ не хотѣлъ усложненія жизни, — «это просто, только то право»... И нужно прибавить, Побѣдоносцева привлекалъ тотъ же чувствительный англосаксонскій пѣтизмъ, что и Толстого, тотъ же sentimentalный духъ, — достаточно почтить

его «Московский Сборникъ». Внутренняя свобода Православія пугала и отталкивала Побѣдоносцева. Потому и настаивалъ онъ такъ на государственной опеке. Онъ не угадалъ святости преп. Серафима, не любилъ ни еп. Феофана (Завворника), ни о. Иоанна Кронштадтскаго... Сходство не значитъ согласіе. Сходство означаетъ принадлежность къ одному культурно-психологическому типу. Сходство Толстого и Побѣдоносцева не было случайнымъ. И во многомъ они одинаково вѣруютъ въ природу и не вѣруютъ въ человека, — вѣрятъ въ законъ и не доверяютъ творчеству...

И важно отмѣтить, въ тѣ годы (60-80) русское общество вообще переживаетъ странный рецидивъ того, что сразу можно называть и «просвѣщенствомъ» и «эпигизмомъ». Отсюда интересъ къ Руссо, тяга къ землѣ и уходъ въ деревню, своего рода недоверіе къ исторіи, «нигилизмъ», часто и разочарованіе... Психологическая исторія русскаго общества еще не написана. Но будущій историкъ съ особымъ вниманіемъ долженъ будетъ остановиться на исторіи этого сложнаго типа, къ которому принадлежалъ Толстой.

Георгій В. Флоровскій.

### О положеніи эмигрантской литературы

Непріятно подходить къ сложному явленію «грубо». Мнѣ приходится это сдѣлать въ настоящей краткой замѣткѣ о томъ, отчего — не гибнетъ, конечно, но тяжко страдаетъ эмигрантская литература. Она прежде всего и больше всего страдаетъ отъ бѣдности — не въ какомъ-либо фигуральномъ, духовномъ смыслѣ слова, а въ житейскомъ, самомъ обыкновенномъ и очень страшномъ. Разумѣется, я отиудъ не хочу сказать, что нѣтъ другихъ причинъ ея бѣдственнаго положенія. Ихъ немало и въ указаніи на любую изъ нихъ найдется доля правды; но доля эта не во всѣхъ указаніяхъ одинакова.

«Оторванность отъ родной почвы»? Да, конечно, есть правда и въ ссылкахъ на нее. Одинъ изъ новѣйшихъ французскихъ литературныхъ историковъ говоритъ, что четыре наиболѣе своеобразныя (онъ употребляетъ слово «іспа-

tendus») книги конца 18-го и начала 19-го вѣка написаны французскими эмигрантами. Заграницей же — и тоже главнымъ образомъ эмигрантами — созданы знаменитѣйшія произведенія польской классической литературы. Владиславъ Мицкевичъ въ книгѣ о своемъ отцѣ, цитируя стихи Ксавье де Местра: «Je sais ce qu'il en coûte à ceux que leur génie — Destine aux grands travaux, — De voir couler leurs jours, perdus pour la patrie — Dans un obscur repos»..., пишетъ: «Этотъ отдыхъ въ безвѣстности долженъ быть стать особенно тяжкимъ мученіемъ для военачальниковъ, для государственныхъ людей, для поэтовъ, низвергнутыхъ съ высоты радужныхъ надеждъ въ пучину горечи, перешедшихъ отъ напряженно-лихорадочной дѣятельности къ угрожаемому бездѣйствию, оторванныхъ отъ родной почвы, разбросанныхъ